

ВЕЧНЫЙ КОШМАР

Конюшенко Егор



Егор Конюшенко Вечный Кошмар

<https://litres.ru/74261404>

SelfPub; 2026

Аннотация

Учёный, читающий рукопись с невозможными геометрическими фигурами, просыпается с чувством, что его сны — это перемещения в другое измерение. Но как проверить, не стал ли он сам частью того, что изучает?

Содержание

I	4
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Егор Конюшенко

Вечный Кошмар

I

Осенний сумрак сгущался за стрельчатыми окнами моего кабинета, когда курьер доставил посылку — тяжелый сверток, обернутый в промасленную ткань и перевязанный бечевой, почерневшей от времени. Я не ждал никаких поступлений из частных коллекций, но обратный адрес, выведенный на карточке выцветшими чернилами, заставил мое сердце сжаться от дурного, необъяснимого предчувствия. Поместье Карстерс-холл, что в окрестностях Иннсмута, давно числилось заброшенным, а его последний владелец, эксцентричный антиквар Уинслоу Карстерс, бесследно исчез при обстоятельствах, которые местные жители и по сей день обсуждают шепотом, опасливо крестясь. И все же именно оттуда, из самого сердца эссекских болот, прибыл ко мне этот предмет, будто притянутый незримой нитью судьбы, сотканной в кошмарах задолго до моего рождения.

Под прохудившейся тканью обнаружился манускрипт — массивный фолиант, формат ин-кварто, переплет которого даже при тусклом свете настольной лампы вызывал тошнотворное, почти физиологическое отторжение. Я видел нема-

ло диковин за годы преподавания археологии в Мискатоникском университете — древнеегипетские папирусы, извлеченные из внутренностей мумий, тибетские танка, писанные на выделанных шкурах, и даже легендарный «Некрономикон» безумного араба Абдула Альхазреда, хранящийся под семью замками в библиотеке Орна, — но ничто не могло сравниться с этим кошмарным артефактом. Переплет был человеческой кожей. Сомнений быть не могло: желтовато-коричневый оттенок, характерный рисунок пор, едва заметные следы татуировок, проглядывающие сквозь патину столетий. Кожа была натянута на доски из неизвестной древесины, черной, как эбеновое дерево, но источавшей слабый аромат, напоминающий одновременно и ладан, и разложение. Прикосновение к этой поверхности вызывало дрожь, электрический разряд, пробежавший от пальцев к запястью и выше, к основанию черепа, где, как говорят, таится вместилище первичных страхов, унаследованных от дочеловеческих прародителей.

Я развязал застежки — тонкие полоски кишок, обработанные и высушенные до состояния пергаментной ленты, — и раскрыл книгу. Страницы, испещренные письменами, были сделаны из материала, природу которого я поначалу затруднился определить. Лишь спустя несколько минут, вооружившись лупой и призвав на помощь весь свой опыт палеографа, я понял, что передо мной — так называемый vellum, тончайший пергамент из кожи нерожденных ягнят,

но столь древний, что каждый лист напоминал осенний древесный гриб, готовый рассыпаться от неосторожного касания.

Чернила, коричневые с зеленоватым отливом, сохранили пугающую яркость, а строки складывались в алфавит, который я не мог с уверенностью отнести ни к одной из известных письменных систем. Здесь угадывались элементы арамейского, следы протосанскрита, искаженные руны, напоминавшие футарк, и в то же время — нечто абсолютно чуждое, геометрически неправильные знаки, видеть которые было почти физически больно, ибо они отказывались подчиняться законам плоскости, извиваясь и перетекая друг в друга на границе восприятия.

Но подлинный ужас внушали диаграммы. Выполненные с педантичностью сумасшедшего математика, они изображали структуры, существование которых в трехмерном пространстве представлялось невозможным. Я видел треугольники, сумма углов которых, вопреки Евклидовым постулатам, превышала сто восемьдесят градусов; многогранники, грани которых одновременно являлись и внутренними, и внешними, создавая омерзительное ощущение вывернутого наизнанку пространства; спирали, уходящие в точку, которая, по всем канонам геометрии, должна была находиться на плоскости, но каким-то немыслимым образом проваливалась в глубину, затягивая взгляд в водоворот черноты, пульсировавшей на странице. Подписи к этим чертежам гласили

о «вратах», «ключевых углах» и «порогах, за которыми время становится пространством, а пространство — сном». Там же впервые встречалось слово «Йог-Сотот», начертанное с той же каллиграфической тщательностью, и одно лишь его прочтение породило во мне безотчетную уверенность, что я совершил ошибку, произнеся это имя даже мысленно.

Куль, описанию ритуалов которого посвящался манускрипт, не имел аналогов в известной мне истории религий. Автор текста — если только можно назвать автором безымянного безумца, чей рассудок, должно быть, окончательно растворился в этих строках — утверждал, что его единовольцы поклонялись сущности, обитающей «за гранью сна и времени, в чертоге, воздвигнутом прежде, чем смерть научилась умирать».

Ритуалы, подробно описанные на страницах, требовали произнесения определенных звуковых последовательностей в точках пересечения неких «леев», под определенным углом наклона небесных тел, которые даже не были планетами нашей Солнечной системы. И каждый ритуал, каждая формула, каждый жест адепта сопровождался уже знакомыми мне и оттого еще более кошмарными диаграммами, изображавшими пространство, скомканное и разорванное, словно лист бумаги, сминаемый невидимой гигантской рукой.

Я не помню, когда именно ночное бдение переросло в одержимость. Кажется, первые несколько часов я лишь лихорадочно перелистывал страницы, сверяясь со словарями, де-

лая пометки в блокноте, пытаюсь найти ключ к расшифровке этого inferнального текста. Затем наступил момент, когда диаграммы перестали казаться мне плоскими изображениями — они обрели объем, глубину, начали пульсировать в такт биению моего сердца. Углы и грани выходили за пределы страницы, простираясь в пространство кабинета призрачными лучами, видимыми лишь краем глаза, уголками расширенных зрачков. Формулы, которые я поначалу принимал за каббалистические изыскания или алхимическую абракадабру, внезапно сложились в стройную, леденящую душу систему — математику нездешних сфер, где привычные аксиомы Евклида, Лобачевского и Римана оказывались лишь частными случаями, бледными теньями Истинных Законов.

Стук маятника напольных часов, донесшийся из гостиной, показался мне далеким, словно доносившимся из-под толщи воды. За окнами занимался рассвет — или, быть может, закат? Я не мог сказать с уверенностью, ибо светило, поднимавшееся над шпилями Аркхема, имело оттенок, неестественный для солнца, — багрово-лиловый, с вкраплениями черных пятен, похожих на медленно вращающиеся воронки. Впрочем, я быстро отвел взгляд, опасаясь, что звезды — а это определенно были они, проступившие среди бела дня, — примут конфигурацию, изображенную на одной из последних диаграмм, той самой, что сопровождалась надписью: «Когда Страж меж Мирами повернет свой тысячеликий взор на ищущего, пути назад не станет».

Книга не отпускала. Она требовала продолжения расшифровки, и я, позабыв о лекциях, об университетских обязанностях, о самом понятии времени, все глубже погружался в бездонный колодец чуждого знания. На третий день — или на четвертый? — счёт дням был безвозвратно потерян, и я обнаружил, что не нуждаюсь более в словарях. Письмена, когда-то казавшиеся тарабарщиной, теперь читались с пугающей легкостью, словно некая часть моего сознания, дремавшая с доисторических времен, пробудилась и вспомнила язык, на котором говорили существа, населявшие Землю до прихода человека. Рука сама выводила на полях формулы, дополнявшие неевклидовы построения автора, а в минуты краткого забытья, на грани сна и яви, мне чудились звуки — ритмичные, гортанные песнопения, доносившиеся одновременно из подвала моего дома и из необозримых далей космического пространства, где в слепой и бессмысленной пляске кружились миры, чьи очертания не подчиняются законам физики и рассудка.

Однажды ночью — теперь я бодрствовал только ночами, ибо дневной свет сделался невыносим для глаз, привыкших к мерцанию свечей и фосфоресцирующему свечению самих страниц, — я закончил перевод ключевого фрагмента и замер, осознав весь ужас прочитанного.

Формула, выписанная мною на сорока семи листах гербовой бумаги, была не просто абстрактной геометрической абстракцией. Это была инструкция. Руководство к действию,

описывающее последовательность жестов, звуков и мысленных усилий, необходимых для того, чтобы истончить мембрану, отделяющую наш мир от того, что лежит за гранью сна и времени.

Я отшатнулся, опрокинув чернильницу, и черная жидкость растеклась по столу причудливой кляксой, в очертаниях которой мне почудился один из тех многогранников, что преследовали меня в кошмарах. И тут — с отчетливостью, какая бывает лишь в моменты экстремального душевного напряжения, — я услышал тихий, вкрадчивый смех, раздавшийся откуда-то из угла кабинета, где в глубокой тени теснились книжные шкафы. Смех был беззлобным, почти добродушным, но в нем слышалось знание всех тайн мироздания и бездонное, бесконечное терпение.

В ту ночь я впервые увидел во сне циклопические руины на берегу маслянистого моря, над которым нависали незнакомые созвездия, и понял, что манускрипт более не нуждается в переводчике — он нашел своего адепта. А затем, спустя несколько дней, когда первоначальный шок несколько улегся, сновидения переменялись. Вместо руин на маслянистом море меня начал посещать иной, повторяющийся кошмар, единообразие которого пугало сильнее любых хаотических грёз.

То состояние, в которое я погружался, едва сомкнув воспалённые от бессонного чтения веки, и вовсе не походило на обычное забытьё. Это было не дремотное мелькание обры-

вочных образов, но перемещение — полное, всецелое, почти физически осязаемое — в пространство, чьи законы не имели ничего общего с привычной механикой бодрствования. Я оказывался там внезапно, без перехода, без характерного чувства засыпания; мгновение назад я разбирал клинописные глоссы, нанесённые на поля фолианта рукой безымянного комментатора, и вот уже стоял на равнине, простиравшейся во все стороны до самого горизонта, если только понятие горизонта вообще применимо к тому месту.

Равнина была абсолютно плоской, лишённой каких-либо ориентиров — ни холма, ни валуна, ни чахлого кустика, способного дать глазу точку опоры. Под ногами расстилалась субстанция, напоминавшая мелкий серый песок, перемешанный с пеплом, но при ходьбе она не разлеталась и не оставляла следов, словно поверхность эта была не вполне материальной, а лишь проекцией, тенью подлинной тверди, существующей где-то в иных измерениях. Воздух — если только то была воздушная среда — оставался абсолютно неподвижен; ни малейшее дуновение не касалось моего лица, и эта мёртвая, гнетущая неподвижность давила на барабанные перепонки сильнее самого яростного урагана.

Но подлинный ужас внушало небо. Оно было чёрным — не тёмно-синим, как в самую глухую земную ночь, не грозовым и не звёздным, но именно чёрным, цвета абсолютной пустоты, простиравшейся куполом бездонного обсидиана. И на этом куполе висели светила — тусклые, багрово-корич-

невые, с размытыми краями, напоминавшими гниlostные нимбы вокруг гаснущих углей. Они не мерцали и не испускали лучей; они просто присутствовали, неподвижные и зловещие, точно воспалённые глаза какого-то космического существа, взирающего на меня с непостижимой высоты.

Расположение их было чуждым всякой астрономии — ни намёка на привычные созвездия, ни следа знакомых с детства конфигураций Кассиопеи или Ориона. Взамен — хаотическая россыпь, складывавшаяся, стоило лишь прищуриться, в те самые геометрические фигуры из манускрипта: пятиугольники с ломаными гранями, трапеции, чьи вершины уходили куда-то за пределы восприятия, и главное — многолучевая звезда неправильной формы, пульсировавшая в зените в такт тому, что я через мгновение осознал и от чего внутренне похолодел.

Из-под земли доносился гул. Поначалу я принял его за отдалённые раскаты грома или, быть может, за шум крови в ушах, но вскоре иллюзия рассеялась. Гул этот был ритмичен — низкий, утробный, проходящий сквозь толщу серого песка и достигающий меня через подошвы, через кости ног, через позвоночный столб к самой сердцевине мозга. Он напоминал биение исполинского сердца — но сердца столь огромного, что сама равнина, по которой я ступал, могла бы оказаться лишь ничтожным участком шкуры титанического организма, дремлющего под слоем омертвевшей материи. Я ощущал его ритм, медленный и неотвратимый: ту-дум... ту-

дум... ту-дум... — и с каждым ударом пространство вокруг неуловимо искажалось, линии горизонта изгибались, а светила на миг вспыхивали ярче, точно откликаясь на этот чудовищный пульс.

Я не мог пошевелиться — тело отказывалось подчиняться, прикованное к месту незримыми путами. Но я мог смотреть и, к своему безграничному отчаянию, мог мыслить, причём с чудовищной ясностью, недоступной в бодрствовании. Именно там, в этом безмолвном кошмаре, ко мне пришло понимание многих фрагментов манускрипта, над которыми я бился в часы, отведённые для бодрствования. Формулы, казавшиеся бессмыслицей, внезапно обрели гармонию; диаграммы, мучившие мой рассудок своей парадоксальной геометрией, выстроились в стройную, чудовищно логичную систему.

Я понял, что равнина, на которой я стоял, и есть то самое пространство «за гранью сна и времени», а пульсирующий гул — дыхание, или сердцебиение, или некий аналог жизненных процессов той самой сущности, коей поклонялся древний культ. Имя её — Йог-Сотот — отпечаталось в моём сознании огненными литерами, и мне стоило невероятных усилий не произнести его вслух, ибо какая-то древняя, звериная часть рассудка подсказывала: назвать его — значит призвать.

Пробуждение всякий раз было резким и мучительным, подобным выныриванию из толщи воды на поверхность. Я

открывал глаза в своём кабинете, задыхаясь, обливаясь ледяным потом, и первые секунды не мог понять, где заканчивается сон и начинается явь. Но хуже всего была повторяемость. Сновидение возвращалось каждую ночь, и с каждым разом равнина казалась мне всё более знакомой, почти родной, словно я возвращался в края, где жил когда-то в незапамятные времена, до рождения, до сотворения самой материи. Это узнавание пугало сильнее всего — пугала та готовность, с которой моё сознание принимало этот inferнальный пейзаж, та радость узнавания, что теплилась в самой глубине моего существа, заглушаемая лишь остатками рассудка.

Но вскоре кошмар перестал ограничиваться сновидениями. Он начал просачиваться в реальность — тонкими, едва заметными ручейками, поначалу легко объяснимыми усталостью и перенапряжением глаз. Я замечал, что предметы в кабинете слегка смещаются. Чернильница, оставленная на левом углу стола, к утру оказывалась на правом; стопка книг, аккуратно сложенная мною накануне, была развёрнута корешком к стене; перо, брошенное в лоток, покоилось на раскрытой странице, и остриё его указывало на один из тех самых неевклидовых чертежей, точно приглашая продолжить прерванное занятие. Я пытался убедить себя, что сам передвигал эти вещи в приступах сомнамбулизма, но где-то глубоко внутри зрело отвратительное понимание: законы пространства, столь надёжные и незыблемые в обыденной жизни,

ни, начинали давать трещины в непосредственной близости от манускрипта.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.